

А. А.
БЕСТУЖЕВ-
МАРЛИНСКИЙ

Сочинения



Александр Бестужев-Марлинский
Аммалат-бек

«Public Domain»

1831

Бестужев-Марлинский А. А.

Аммалат-бек / А. А. Бестужев-Марлинский — «Public Domain», 1831

«Была джума, близ Буйнаков, обширного селения в Северном Дагестане, татарская молодежь съехалась на скачку и джигитовку, то есть на ристанье, со всеми опытами удалства. Буйнаки лежат в два уступа на крутом обрыве горы. Влево от дороги, ведущей из Дербента к Таркам, возвышается над ними гребень Кавказа, оперенный лесом; вправо берег, понижаясь не приметно, раскидывается лугом, на который плещет вечно ропотное, как само человечество, Каспийское море. Вешний день клонился к вечеру, и все жители, вызванные свежестью воздуха еще более, чем любопытством, покидали сакли свои и толпами собирались по обеим сторонам дороги...»

Содержание

Глава I	5
Глава II	13
Глава III	19
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Александр Александрович Бестужев-Марлинский Аммалат-бек¹

Кавказская быль

Посвящается Николаю Алексеевичу Полевому²

*Будь медлен на обиду – к отмщенью скор!
Надпись дагестанского кинжала*

Глава I

Была джума³, близ Буйнаков, обширного селения в Северном Дагестане, татарская молодежь съехалась на скачку и джигитовку, то есть на ристанье, со всеми опытами удачества. Буйнаки лежат в два уступа на крутом обрыве горы. Влево от дороги, ведущей из Дербента к Таркам, возвышается над ними гребень Кавказа, оперенный лесом; вправо берег, понижаясь не приметно, раскидывается лугом, на который плещет вечно ропотное, как само человечество, Каспийское море. Вешний день клонился к вечеру, и все жители, вызванные свежестью воздуха еще более, чем любопытством, покидали сакли свои и толпами собирались по обеим сторонам дороги. Женщины без покрывал, в цветных платках, свернутых чалмою на голове, в длинных шелковых сорочках, стянутых короткими архалуками (тюника), и в широких туманах⁴, сидели рядами, между тем как вереницы ребят резвились перед ними. Мужчины, собравшись в кружки, стоя, или сидя на коленях⁵, или по двое и по трое, прохаживались медленно кругом; старики курили табак из маленьких деревянных трубок; веселый говор разносился кругом, и порой возвышался над ним звон подков и крик: «качь, качь (посторонись)!» от всадников, приготовляющихся к скачке.

Дагестанская природа прелестна в мае месяце. Миллионы роз обливают утесы румянцем своим, подобно заре; воздух струится их ароматом; соловьи не умолкают в зеленых сумерках рощи. Миндальные деревья, точно куполы пагодов, стоят в серебре цветов своих, и между них высокие раины, то увитые листьями, как винтом, то, возникая стройными столпами, кажутся мусульманскими минаретами. Широкоплечие дубы, словно старые ратники, стоят на часах там, инде, между тем как тополи и чинары, собравшись купами и окруженные кустарниками как детьми, кажется, готовы откочевать в гору, убегая от летних жаров. Игривые стада баранов, испещренных розовыми пятнами; буйволы, упрямо погрязающие в болоте при фонтанах или по целым часам лениво бодающие друг друга рогами; да там и сям по горе статные копи, которые, разбросав на ветер гриву, гордой рысью бегают по холмам, – вот рамы каждого мусульманского селения. Можно себе вообразить, что в день этой джумы окрестности Буйнаков еще

³ Джума соответствует нашей неделе, то есть воскресенью. Вот имена прочих дней магометанской недели: шамби (наша суббота), ихшамба (воскресенье), душамба (понедельник), сешамба (вторник), чаршамба (среда), пханшамба (четверг), джума (пятница). (Примеч. автора.)

⁴ Хотя, в существе, нет никакой разницы между мужскими шальварами и женскими туманами(пantalонами), но для мужчины будет обидно, если вы скажете, что он носит туманы, и наоборот. (Примеч. автора.)

⁵ Обыкновенный образ сиденья у азиатцев на улице или перед старшим. А потому Н. М. Карамзин очень ошибся, переводя слова волынского летписца: «Зае те, Романе, на коленях пред ханом седиши» – «худо тебе, Роман, на коленях стоишь перед ханом». Конечно, сидеть на корточках было не весело для галицкого князя, но не так унижительно, как думает историк. (Примеч. автора.)

более оживлены были живописною пестротой народа. Солнце лило свое золото на мрачные стены саклей с плоскими кровлями и, облекая их в разнообразные тени, придавало им приятную наружность... Вдали тянулись в гору скрипучие арбы, мелькая между могильными камнями кладбища... Перед ним неся всадник, взвевая пыль по дороге... Горный хребет и безграничное море придавали всей картине величие, вся природа дышала теплою жизнью.

— Едет, едет! — раздалось из толпы, и все зашевелились.

Всадники, которые доселе разговаривали с знакомыми, ступив на землю, или нестройно разъезжали в поле, вскочили на коней и понеслись навстречу поезду, спускающегося с горы: то был Аммалат-бек, племянник тарковского шамхала⁶ со своею свитою. Он был одет в черную персидскую чуху, обложенную галунами; висащие рукава закидывались за плечи. Турецкая шаль обвивала под исподом надетый архалук из букетовой термоламы⁷. Красные шальвары скрывались в верховые желтые сапоги с высокими каблуками. Ружье, кинжал и пистолет его блистали серебром и золотою насечкою. Ручка сабли осыпана была дорогими камнями. Сей владетель Тарков был высокий, статный юноша, открытого лица; черные зильфляры (кудри) вились за ухом из-под шапки... легкие усы оттеняли верхнюю губу... очи сверкали гордою приветливостию. Он сидел на червонном коне, и тот крутился под ним как вихорь. Против обыкновения, не было на коне персидского круглого, расшитого шелками чепрака⁸, но легкое черкесское седло с серебром под чернетью, с расписанными потебнями⁹ и со стремями черного хорасанского булата¹⁰ под золотою насечкою. Двадцать нукеров¹¹ на лихих скакунах, в чухах¹², блестящих галунами, сдвинув шапки набекрень, скакали, избочась, сзади. Народ почтительно вставал перед своим беком и склонялся, прижимая правую руку к правому колену. Ропот и шепот одобрения разливался вслед ему между женщин.

Подъехав к южному концу ристалища, Аммалат остановился. Почетные люди, старики, опираясь на палки, и старшины Буйнаков обстали его кругом, стараясь вызвать на себя приветливое слово бека, но Аммалат ни на кого не обращал особенного внимания и с холодною учтивостью отвечал односложными словами на лесть и поклоны своих подручников. Он махнул рукой: это был знак начинать скачку.

Без очереди, без всякого порядка кинулись человек двадцать самых горячих ездоков скакать взад и вперед, гарцуя, перегоняя друг друга. То перерезывали они друг ДРУГУ Дорогу и вдруг сдерживали коней, то вновь пускали их во всю прыть с места. После этого все взяли небольшие палки, называемые джигидами, и начали на скаку метать вслед и встречу противников, то ловя их на лету, то подхватывая с земли. Иные падали долой из седла от сильных ударов, и тогда раздавался громкий смех зрителей побежденному, громкие клики приветия победителю, иногда кони спотыкались и всадники редко не падали через голову, выброшенные двойною силою коротких стремян. Затем началась стрельба.

Аммалат-бек все это время стоял поодаль, любуясь на скачку. Нукеры его один по одному вмешивались в толпу джигитующих, так что под конец при нем осталось только двое. Сначала он стоял неподвижен и равнодушным взором следил подобие азиатской битвы, но мало-помалу участие стало разыгрываться в нем сильнее и сильнее... Он уже с большим вниманием смот-

⁶ Первые шамхалы были родственники и наместники халифов дамасских. Последний шамхал умер, возвращаясь из России, и с ним кончилось это бесполезное достоинство. Сын его, Сулейман-паша, владеет наследством просто как частным имением. (Примеч. автора.)

⁷ Термалама (термолала) — плотная шелковая или полупелковая ткань.

⁸ Чепрак (тур.) — суконная, ковровая или иная подстилка под седло поверх потника.

⁹ Потебни (укр.) — кожаные лопасти по бокам седла.

¹⁰ ...хорасанского булата... — Хорасан — северо-восточная иранская провинция, известная производством оружия.

¹¹ Нукер — общее имя для прислужников; но, собственно, это то же самое, что у древних шотландцев *henchman* (прибедреник). ин всегда и везде находится при господине, служит за столом, режет и рвет руками жаркое и так далее. (Примеч. автора.)

¹² Чуха, или чоха (тур.) — верхняя мужская одежда с широкими откидывающимися рукавами.

рел на удалцов, стал ободрять их голосом и движением руки, вставать выше на стремянах, и, наконец, наездническая кровь закипела в нем, когда любимый его нукер не попал на всем скаку в брошенную перед ним шапку; он выхватил у своего оруженосца ружье и стрелой полетел вперед, увиваясь между стрелками.

– Раздайся, раздайся! – слышалось кругом, и все, как дождь, рассыпались по сторонам, дав место Аммалах-беку.

На расстоянии одной версты стояло десять шестов с повешенными на них шапками. Аммалат проскакал в один конец, крутя ружье над головою; но едва миновал крайний столб смелым поворотом, он встал на стремянах, приложился назад, паф – и шапка упала наземь; не умеряя бега, он зарядил ружье, с брошенными поводками, сбил шапку с другого, с третьего и так со всех десяти... Говор похвал раздался со всех сторон, но Аммалат, не останавливаясь, бросил ружье в руки нукера, выхватил из-за пояса пистолет и выстрелом из него отбил подкову с задней ноги своего скакуна; подкова взвилась и, свистя, упала далеко назад; тогда он снова подхватил заряженное нукером ружье и велел ему скакать перед собою...

Быстрее мысли понеслись оба. На полдороге нукер вынул из кармана серебряный рубль и высоко взбросил его в воздух; Аммалат приложился вверх, не ожидая падения, но в то же самое мгновение конь его споткнулся со всех четырех ног и, бороздя пыль мордую, покатился вперед с размаху. Все ахнули, но ловкий всадник, стоявший стоймя на стремянах, не тряхнулся, не подался вперед, как будто не слышал падения, – выстрел сверкнул, и вслед за выстрелом серебряный рубль улетел далеко в народ. Толпа заревела от удовольствия: «Игид! игид (удалец)! Алла, Вал-ла-га!» Но Аммалат-бек скромно отъехал в сторону, сошел с коня и, бросив поводка в руки джиладара, то есть конюшего, велел сей же час подковать коня. Скачка и стрельба продолжались.

В это время подъехал к Аммалату эмджек¹³ его, Сафир-Али, сын одного из небогатых беков буйнакских, молодой человек, приятной наружности и простого, веселого нрава. Он вырос вместе с Аммалатом и потому очень коротко обходился с ним. Он спрыгнул с коня и, кивнув головою, сказал:

– Нукер Мемет-Расуль измучил твоего старика безгривого жеребца¹⁴, заставляет его скакать через ров шириною шагов семи.

– И он не прыгает? – вскричал нетерпеливый Аммалат. – Сейчас, сей же миг привести его ко мне.

Он встретил коня на полдороге, не ступая в стремя, вспрыгнул в седло и полетел к утесистой рытвине, доскакал, стиснул колена, но усталый конь, не надеясь на свои силы, вдруг повернул направо на самом краю, и Аммалат должен был сделать еще круг.

Во второй раз конь, подстрекаемый плетью, взвился на дыбы, чтобы перепрыгнуть через ров, но замялся, заартачился и уперся передними ногами.

Аммалат вспыхнул.

Напрасно упрашивал его Сафир-Али, чтобы он не мучил бегуна, утратившего в боях и разъездах упругость членов; Аммалат не внимал ничему и понуждал его криком, ударами обнаженной сабли. И в третий раз подскакал он к рытвине, и когда в третий раз стал с размаху старый конь, не смея прыгать, он так сильно ударил его рукоятью сабли в голову, что конь грянулся наземь бездыханен.

– Так вот награда за верную службу! – сказал Сафир-Али, с сожалением глядя на издохшего бегуна.

– Вот награда за послушанье! – возразил Аммалат, сверкая очами.

¹³ Эмджек – грудной, молочный брат; от слова эмджек – сосец. У кавказских народов это родство священнее природного; за своего эмджека каждый положит голову. Матери стараются заранее связать таким узлом надежные семьи. Мальчика приносят к чужой матери, та кормит его грудью, и обряд кончен, и неразрывное братство начато. (Примеч. автора.)

¹⁴ Славная в Персии порода туркменских лошадей, называемая теке. (Примеч. автора.)

Видя гнев бека, все умолкли и отсторонились. Всадники джигитовали.

И вдруг загремели русские барабаны, и штыки русских солдат засверкали из-за холма. То была рота Курияского пехотного полка, отправленная из отряда, ходившего тогда в Акушу, возмущенную Ших-Али-ханом, изгнанным владельцем Дербента. Рота сия должна была конвоировать обоз с продовольствием из Дербента, куда и шла горного дорогою. Ротный командир, капитан***, и с ним один офицер ехали впереди. Не доходя до ристалища, ударили отбой, и рота стала, сбросила ранцы и составила в козлы ружья, расположась на привал, но не разводя огней.

Прибытие русского отряда не могло быть новостью для дагестанцев в 1819 году; но оно и до сих пор не делает им удовольствия. Изуверство заставляет их смотреть на русских как на вечных врагов, но врагов сильных, умных, и потому вредить им решаются они не иначе как втайне, скрывая неприязнь под личиною доброхотства.

Ропот разлился в народе при появлении русских; женщины окольными тропинками потянулись в селение, не упуская, однако ж, случая взглянуть украдкой на пришлецов. Мужчины, напротив, поглядывали на них искоса, через плечи, и стали сходиться кучками, разумеется потолковать, каким бы средством отделаться от постоя, от подвод и тому подобного. Множество зевак и мальчишек окружили, однако, русских, отдыхающих на травке. Несколько кекхудов (старост) и чаушей (десятников), назначенных русским правительством, поспешили к капитану и, сняв шапки, после обычных приветов: хош гяльды (милости просим) и яхшимусен, тазамусен сен-немамусен (как живешь-можешь), добрались и до неизбежного при встрече с азиатцами вопроса: «что нового? на хабер?»

– Нового у меня только то, что конь мой расковался и оттого, бедняга, захромал, – отвечал им капитан, довольно чисто по-татарски. – Да вот, кстати, и кузнец, – продолжал он, обращаясь к широкоплечему татарину, который опиловал уже копыто вновь подкованного Аммалатова бегуна. – Кунак, подкуй мне коня!.. Подковы есть готовые; стоит брякнуть молотком, и дело кончено в минуту!

Кузнец, у которого лицо загорело от горна и от солнца, угрюмо взглянул на капитана исподлобья, поправил широкий ус, падающий на давно не бритую бороду, которая бы щетинами своими сделала честь любому борову, подвинул на голове араччин (ермолку) и хладнокровно продолжал укладывать в мешок свои орудия.

– Понимаешь ли ты меня, волчье племя? – сказал капитан.

– Очень понимаю! – отвечал кузнец. – Тебе надобно подковать свою лошадь...

– И ты сам должен подковать ее, – отвечал капитан, заметя в татарине охоту шутить словами.

– Сегодня праздник: я не стану работать.

– Я заплачу тебе за труды что хочешь; но знай, что волей и неволей ты у меня сделаешь, что я хочу.

– Прежде всех наших идет воля аллаха, а он не велел работать в джуму. Довольно грешим мы из выгоды и в простые дни... так в праздник не хочу я себе покупать за серебро уголья.

– Да ведь ты работал же сейчас, упрямая башка? Разве не равны кони? Притом же мой настоящий мусульманин. Взгляни-ка тавро: кровный карабахский...

– Кони все равны, да не равны те, кто на них ездит, Аммалат-бек мой ага (господин).

– То есть, если бы вздумал отнекиваться, он бы велел обрезать тебе уши; а для меня ты не хочешь работать в надежде, что я не смею сделать того же? Хорошо, приятель: я точно не обрежу тебе ушей, но знай и верь, что я в твою православную спину влеплю двести самых горячих нагаек, если ты не перестанешь дурачиться. Слышал?

– Слышал, и все-таки буду отвечать по-прежнему: не кую, потому что я добрый мусульманин.

– А я заставляю тебя ковать, потому что я добрый солдат. Когда ты работал для прихоти своего бека, ты будешь работать для необходимости русского офицера: без этого я не могу выступить. Ефрейторы, сюда!!

Между тем кружок любопытных около упрямого кузнеца расширился, подобно кругу на воде от брошенного камня. В толпе иные уже ссорились за передние места, не зная, что смотреть бегут они, и, наконец, раздалось: «Этого не надо, этому не бывать, сегодня праздник, сегодня грех работать!»

Некоторые смельчаки, надеясь на число, надвинули шапки на глаза и, держась за рукоятки кинжалов, подло самого капитана стали кричать: «Не куй, Алекпер, не делай ему ничего... Вот тебе новости! Что нам за пророки эти немытые русские!»

Капитан был отважен и знал очень коротко азиатцев.

– Прочь, бездельники! – закричал он гневно, положив руку на ручку пистолета. – Молчать, или я первому, кто осмелится выпустить брань из-за зубов, запечатаю рот свинцового печатью!

Это увещание, подкрепленное штыками нескольких солдат, подействовало мгновенно: кто был поробче – давай бог ноги, кто посмелее – прикусил язык. Сам набожный кузнец, видя, что дело идет не на шутку, поглядел на все стороны, проворчал: «Недзелеим (что ж мне делать)?», засучил рукава, вытащил из мешка клещи и молот и начал подковывать русскую лошадь, приговаривая сквозь зубы: «Балла билла битмы эддым» (а это значит наравне с польским: дали буг, не позволял¹⁵).

Надобно сказать, что все это происходило за глазами Аммалата: он, едва завидел русских, как, избегая неприятной для себя встречи, сел на новоподкованного коня и поскакал в дом свой, над Буйнаками стоящий.

Между тем как это происходило на одном конце ристалища, ко фронту отдыхающей роты подъехал всадник среднего роста, но атлетического сложения; он был в кольчуге, в шлеме, в полном боевом вооружении; за ним следом тянулось пять нукеров. По запыленной их одежде, но коням в поту и пене виделось, что они совершили скорый и дальний переезд. Первый всадник, рассматривая солдат, тихим шагом проезжал вдоль составленных в козлы ружей, задел и опрокинул две пирамиды. Нукеры, следуя за господином, вместо того чтоб своротить в сторону, дерзко топтали упавшее оружие. Часовой, который еще издали кричал, чтоб они не приближались, схватил под уздцы коня панцирника, между тем как множество солдат, раздраженных таким презрением от мусульман, окружили поезд с бранью.

– Стой, кто ты? – было восклицание и вместе вопрос часового.

– Ты, видно, рекрут, когда не узнал Султан-Ахмет-хана Аварского¹⁶, – хладнокровно отвечал панцирник, отрывая руку часового от поводьев. – Кажется, в прошлом году я задал русским в Башлах¹⁷ по себе славную поминку. Переведи ему это, – сказал он одному из своих нукеров. Аварец повторил его слова по-русски довольно понятно.

– Это Ахмет-хан! Ахмет-хан... – раздалось между солдатами. – Лови его, держите его! Тащите его на расплату за башлинское дело... Бездельники в куски изрубили наших раненых!

– Прочь, грубиян! – вскричал Султан-Ахмет-хан по-русски рядовому, который снова схватил коня за узду. – Я русский генерал!¹⁸

– Русский изменник! – зашумели множество голосов. – Ведите его к капитану, потащим его в Дербент, к полковнику Верховскому!

¹⁵ ..дали буг, не позволял... (польск.) – далее кусты, купы (деревьев), двигаться нельзя.

¹⁶ Он был родной брат Гассан-хана Джемутайского, а сделался ханом Аварским, женившись на вдове хана, единственной его наследнице. (Примеч. автора.)

¹⁷ Тогда отряд наш, состоявший из трех тысяч человек, окружен был шестьюдесятью тысячами горцев. Там был уцмий Каракайдакский, аварцы, акушинцы, койсубулинцы и другие. Русские пробились ночью – и с уроном. (Примеч. автора.)

¹⁸ Султан-Ахмет-хан Аварский (ум. в 1823 г.) – числился генералом русской службы, но вместе со своим братом Гассан-хаиом (убит в 1819 г.) вел изменническую политику, не раз выступая против русских на Кавказе.

– Только в ад пойду я с такими проводниками, – сказал Ахмет-хан с презрительною улыбкою и в то же мгновение поднял коня на дыбы, бросил его влево, вправо и вдруг, повернув на воздухе кругом, ударил нагайкою и был таков. Нукеры не сводили глаз с хана и с гиком кинулись за ним следом, опрокинули некоторых солдат и открыли себе дорогу. Отскакав не более как шагов на сто, хан снова поехал шагом, не оглядываясь назад, не изменяясь в лице и хладнокровно поигрывая уздечкою. Толпа татар, собравшаяся около кузнеца, привлекла его внимание.

– Что у вас за споры, приятели? – спросил у ближних Ахмет-хан, сдержав коня.

Все с уважением приложили руки ко лбу при поклоне, заведя хана. Те, которые были поробче или помирнее очень смутились от этой встречи: того и гляди, попадешь в беду от русских, зачем не взяли врага их, или под месть хана, если ему не уважишь. Зато все голово-резы, все бездельники и все, которые с досадой смотрели на владычество русское, окружили его веселою толпою. Ему в один миг рассказали в чем дело.

– И вы, как буйволы, смотрите, когда вашего брата запрягают в ярмо, – громко сказал хан окружающим, – когда вам в глаза смеются над вашими обычаями, топчут под ноги вашу веру! И вы плачете, как старые бабы, вместо того чтобы мстить, как прилично мужам! Труссы! труссы!

– Что мы сделаем! – возразили ему многие голоса. – У русских есть пушки! есть штыки!..

– А у вас разве нет ружей, нет кинжалов? Не русские страшны, а вы робки! Позор мусульманам: дагестанская сабля дрожит перед русскою нагайкою. Вы боитесь пушечного грома, а не боитесь укоров. Ферман¹⁹ русского пристава для вас святее главы из Курана²⁰. Сибирь пугает вас пуще ада... Так ли поступали деды ваши, так ли думали отцы?.. Они не считали врагов и не рассчитывали, выгодно или невыгодно сопротивляться насилию, а храбра бились и славно умирали. Да и чего бояться? Разве чугуны у русских бока? Разве у их пушек нет заду? Ведь скорпионов ловят за хвост!!

Речь эта возмутила толпу. Татарское самолюбие было тронато живо.

– Что смотреть на них? Что позволять им хозяйничать у нас, будто в своем кармане? – послышалось отовсюду. – Освободим кузнеца от работы, освободим! – закричали все и стеснили кружок около русских солдат, посреди коих Алекпер ковал капитанскую лошадь.

Смятение росло.

Довольный возбуждением мятежа, Султан-Ахмет-хан не желал, однако ж, замешиваться в ничтожную схватку и выехал из толпы, оставя там двух нукеров для поддержания духа запальчивости между татар, а о двумя остальными быстро поскакал в утах²¹ Аммалата.

– Будь победитель! – сказал Султан-Ахмет-хан Аммалат-беку, который встретил его на пороге.

Это обыкновенное на черкесском языке приветствие было произнесено им с таким значительным видом, что Аммалат, поцеловавшись с ним, спросил:

– Насмешка это или предсказание, дорогой гость мой?

– Зависит от тебя, – отвечал пришелец. – Настоящему наследнику шамхальства²² стоит только вынуть из ножен саблю, чтобы...

– Чтобы никогда ее не вкладывать, хан? Незавидная участь: все-таки лучше владеть Буйнаками, нежели с пустым титулом прятаться в горах, как шакалу.

¹⁹ Ферман (фирман) – письменное повеление, приказ в мусульманских странах.

²⁰ Куран (Коран) – основная «священная» книга ислама, сборник религиозно-догматических, мифологических и правовых текстов.

²¹ Дом по-татарски авъ; утах – значит палаты, а сарай – вообще здание. Гарам-Хане – женское отделение (от этого происходит русское слово хоромы). В смысле дворца употребляют иногда слово игарат. Русские все это смешивают в одно название – сакли, что по-черкесски значит дом. (Примеч. автора.)

²² Отец Аммалата был старший в семействе и потому настоящий наследник шамхальства; но русские, завладев Дагестаном и не надеясь на его доброхотство, отдали власть меньшему брату. (Примеч. автора.)

– Как льву, прядать с гор, Аммалат, и во дворце твоих предков опочить от славных подвигов.

– Не лучше ль не пробуждаться от сна вовсе?

– Чтобы и во сне не видеть, чем должен ты владеть наяву? Русские недаром потчуют тебя маком и убаюкивают сказками, между тем как другой рвет золотые цветы²³ из твоего сада.

– Что могу я предпринять с моими силами?

– Силы – в душе, Аммалат!.. Осмелся, и все преклонится перед тобою... Слышишь ли? – промолвил Султан-Ахмет-хан, когда раздались в городе выстрелы. – Это голос победы.

Сафир-Али вбежал в комнату со встревоженным лицом.

– Буйнаки возмутились, – произнес он торопливо, – толпа буйанов осыпала роту и завела перестрелку из-за камней...

– Бездельники! – вскричал Аммалат, взбрасывая на плечо ружье свое. – Как смели они шуметь без меня? Беги вперед, Сафир-Али, грози моим именем, убей первого ослушника.

– Я уже унимал их, – возразил Сафир-Али, – да меня никто не слушает, потому что нукеры Султан-Ахмет-хана поджигают их, говорят, что он советовал и велел бить русских.

– В самом деле мои нукеры это говорили? – спросил хан.

– Не только говорили, да и примером ободряли, – сказал Сафир-Али.

– В таком случае я очень ими доволен, – молвил Султан-Ахмет-хан, – это по-молодецки.

– Что ты сделал, хан? – вскричал с огорчением Аммалат.

– То, что бы тебе давно следовало делать. – Как оправдаюсь я перед русскими?!

– Свинцом и железом... Пальба загорелась, судьба за тебя работает. Сабли наголо, и пойдем искать русских...

– Они здесь! – возгласил капитан, который с десятью человеками пробился сквозь нестройные толпы татар в дом владельца.

Смущен неожиданным бунтом, в котором его могли счесть участником, Аммалат приветливо встретил разгневанного гостя.

– Приди на радость, – сказал он ему по-татарски.

– Не забочусь, на радость ли пришел я к тебе, – отвечал капитан, – но знаю и испытываю, что меня встречают в Буйнаках не по-дружески. Твои татары, Аммалаг-бек, осмелились стрелять в солдат моего, твоего, общего нашего царя!

– В самом деле, это очень дурно, что они стреляли в русских... – сказал хан, презрительно разлегаясь на подушках, – когда им бы должно было убивать их.

– Вот причина всему злу, Аммалат, – сказал с гневом капитан, указывая на хана. – Без этого дерзкого мятежника ни один курок не брякнул бы в Буйнаках! Но хорош и ты, Аммалат-бек... Зовешься другом русских и принимаешь врага их как гостя, укрываешь как товарища, честишь как друга. Аммалат-бек! именем главнокомандующего требую: выдай его.

– Капитан, – отвечал Аммалат, – у нас гость – святыня. Выдача его навлекла бы на мою душу грех, на голову – позор некупимый; уважьте мою просьбу, уважьте наши обычаи.

– Я скажу тебе в свою очередь: вспомни русские законы, вспомни долг свой; ты присягал русскому государю, а присяга велит не жалеть родного, если он преступник.

– Скорее брата выдам, чем гостя, г. капитан! Не ваше дело судить, что и как обещал я выполнять. В моей вине мне диван (суд) аллах и падишах!.. Пускай в поле бережет хана судьба, но за моим порогом, под моею кровлею я обязан быть его защитником и буду им!

– И будешь в ответе за этого изменника!

Хан безмолвно лежал во время этого спора, гордо пуская дым из трубки, но при слове изменник кровь его вспыхнула; он вскочил и с негодованием подбежал к капитану.

²³ Игра слов, до которой азиатцы большие охотники: кызыль-гюлляр, собственно, значит розы, но хан намекает на кызыль – червонец. (Примеч. автора.)

– Изменник я, говоришь ты? – сказал он. – Скажи лучше, что я не хотел быть изменником тем, кому обязан верностью. Русский падишах дал мне чин, сардарь²⁴ ласкал меня, и я был верен, покуда от меня не требовали невозможного или унижительного. И вдруг захотели, чтоб я впустил в Аварию войска, чтобы позволил выстроить там крепости; но какого имени достоин бы я стал, если б продал кровь и пот аварцев, братьев моих! Да если бы я покусился на это, то неужели думаете вы, что мог бы это исполнить? Тысячи вольных кинжалов и неподкупных пуль устремились бы в сердце предателя, самые скалы рухнули бы на голову сына-отцепродавца. Я отказался от дружбы русских, но еще не был врагом их, и что ж было наградой за мое доброжелательство, за добрые советы? Я был лично, кровно обижен письмом вашего генерала²⁵, когда предостерегал его... Ему дорого стоила в Башлах дерзость... Реку крови пролил я за несколько капель бранчивых чернил, и эта река делит меня навечно с вами.

– Эта кровь зовет месть! – вскричал капитан сердито. – И ты не уйдешь от нее, разбойник!

– А ты от меня, – возразил вспылчивый хан, вонзая кинжал в живот капитана, когда тот занес руку, чтобы схватить его за ворот.

Тяжело раненный капитан, простонав, упал на ковер.

– Ты погубил мепя, – произнес Аммалат, всплеснув руками, – он русский и гость мой.

– Есть обиды, которых не покрывает кровля, – возразил мрачно хан. – Кости судьбы выпали; колебаться не время; запирай ворота, скличь своих, и ударим на неприятелей.

– За час еще я не имел их... Теперь нечем их отражать... У меня нет в запасе ни пуль, ни пороху; люди в разброде...

– Народ разбежался! – в отчаянии вскричал Сафир-Али. – Русские идут в гору скорым шагом. Они уж близко!!

– Если так, то поезжай со мною, Аммалат, – молвил хан. – Я ехал в Чечню, чтобы поднять ее на линии... Что будет, бог весть, но и в горах хлеб есть!.. Согласен ты?

– Едем!.. – решительно сказал Аммалат. – Теперь мне одно спасение – в бегстве... Не время теперь ни споров, ни укоров.

– Гей, коня, и шесть нукеров за мною!

– И я с тобой, – произнес со слезой в око Сафир-Али, – с тобой в волю и в неволю.

– Нет, добрый мой Сафир-Али, нет! Ты останешься здесь похозяйничать, чтобы свои и чужие не растащили всего дома. Снеси от меня привет жене и проводи ее к тестю, шамхалу. Не забудь меня, – и до свиданья!

Едва успели они выскакать в одни ворота, как русские вторглись в другие.

²⁴ Сардарь – министр двора; здесь: главнокомандующий, то есть Ермолов А. П. (1777—1861) – генерал, герой Отечественной войны.

²⁵ ...обижен письмом... генерала... – Имеется в виду ответ Ермолова на письма Аварского хана в 1818 г. Главнокомандующий разгадал изменническую политику хана и предложил ему: быть подданным или врагом России.

Глава II

Вешний полдень сиял над высью Кавказа, и громкие крики мулл звали жителей Чечни к молитве. Постепенно возникали они от мечети до незримой за гребнями мечети, и одинокие звуки их, на миг пробуждая отголосок утесов, затихали в неподвижном воздухе.

Мулла Гаджи-Сулейман, набожный турок, один из ежегодно насылаемых в горы стамбульским диваном²⁶ для распространения и укрепления православия, а с тем вместе и ненависти к русским, отдыхал на кровле мечети, совершив обычный призыв, омовение и молитву. Он был еще недавно принят муллою в чеченском селении Игали, и потому, погруженный в глубокомысленное созерцание своей седой бороды и кружков дыма, летящих с его трубки, порою он поглядывал с любопытным удовольствием и на горы и на ущелие, лежащее к северу, прямо под его глазами. Влево возникали стремнины хребта, отделяющего Чечню от Аварии, далее сверкали снега Кавказа. Сакли, неправильно разбросанные по обрыву, уступами сходили до полугоры, и только узкие тропинки вели к этой крепости, созданной природою и выисканной горскими хищниками для обороны воли своей, для охраны добычи. Все было тихо в селении и по горам окрестным; на дорогах и улицах ни души... Стада овец лежали в тени скал, буйволы теснились в грязном водоеме у ключа, выставляя одни морды из болота. Лишь жужжание насекомых, лишь однозвучная песня кузнечика были голосом жизни среди пустынного безмолвия гор, и Гаджи-Сулейман, залегши под куполом, вполне наслаждался тишью и бездействием природы, столь сходными с ленивою неподвижностью турецкого характера. Тихо поводил он глазами, в которых погас свой огонь и потуск свет солнца, и, наконец, взоры его встретили двух всадников, медленно взбирающихся вверх по противоположной стороне ущелия.

– Нефтали! – закричал наш мулла, обратившись к ближней сакле, у дверей которой стоял оседланный конь.

И вот стройный чеченец с подстриженной бородкою, в мохнатой шапке, закрывающей пол-лица, выбежал на улицу.

– Я вижу двух вершников, – продолжал мулла, – они объезжают селение!

– Верно, жиды, либо армяне, – отвечал Нефтали, – им, конечно, не хочется нанимать проводника; да они сломят себе шею на объездной тропинке. Там и дикие козы, и наши первые удалыцы скачут оглядываясь.

– Нет, брат Нефтали, я два раза ходил в Мекку²⁷ и навидался армян и жидов во всех сторонах... Только эти всадники не тем глядят, чтобы им торговать по-жидовски, – разве на перекрестке менять железо на золото! С ними нет и व्यюков. Взгляни-ка сам сверху, твои глаза вернее моих; мои отжили и отглядели свое. Бывало, за версту я мог считать пуговицы на кафтане русского солдата и винтовка моя не знала промаха по неверным, а теперь я и дареного барана всдали не распознаю.

Между тем Нефтали стоял уже подле муллы и орлиным взором своим следил проезжих.

– Полдень жарок, и путь тяжел, – промолвил Сулейман, – пригласи путников освежить себя и коней; может, не знают ли чего новенького, да и принимать странника крепко-накрепко заповедано Кураном.

– У нас в горах и раньше Курана ни один путник не выходил из деревни голоден или грустен, никогда не прощался без чурека²⁸, без благословения и без провожатого в напутье;

²⁶ Стамбульский диван – в Турции совещательное собрание сановников при султанах.

²⁷ Гаджи, собственно, значит путешественник, но придается вроде титула тем, кои были в Мекке. Они имеют право носить белую витую чалму; шагиды редко, однако же ее носят. (Примеч. автора.)

²⁸ Чурек – на Кавказе хлеб особой выпечки в форме большой лепешки.

только эти люди мне подозрительны: зачем им обегать добрых людей и по околицам, с опасностью жизни, миновать деревню нашу?

– Кажется, они земляки твои, – сказал Сулейман, осенив глаза рукою, чтобы пристальнее взглядеться. – На них чеченское платье. Может быть, они возвращаются из набега, куда и твой отец помчался с сотнею других соседей; или, может быть, едут братья мстить кровью за кровь.

– Нет, Сулейман, это не по-нашему. Утерпело ли бы сердце горское не заехать к своим похвалиться молодечеством в бою с русскими, пощеголять добычью? Это и не кровоместники и не абреки: лица их не закрыты башлыками; впрочем, одежда обманчива, и кто порука, что это не русские беглецы? Недавно из Гумбет-аула ушел казак, убив узденя²⁹ хозяина, у которого жил, и завладев его конем, его оружием... Черт силен!

– На тех, у кого слаба вера, Нефтали... Однако, если я не ошибаюсь, у заднего всадника из-под шапки выются волосы!

– Пускай я рассыплюсь прахом, если не правда! Это или русский, или еще и того хуже, шагид-татарин³⁰. Постой, приятель, я расчешу тебе твои зильфляры (кудри); через полчаса я возвращусь, Сулейман, или с ними, или кто-нибудь из нас троих упитает горных беркутов.

Нефтали стремглав сбежал с лестницы, накинув на плечо ружье, прыгнул в седло и помчался с горы кубарем, не разбирая ни рытвин, ни камней. Только пыль взвивалась и камни катились следом за бесстрашным наездником.

– Алла акбер! – преважно сказал Сулейман и закурил трубку.

Нефтали скоро догнал всадников. Усталые кони их, покрытые пеною, кропили потом узкую, стремнистую стезю, по которой взбирались они в гору. Передний был в кольчуге, задний в черкесском платье; только персидская сабля вместо шашки висела на позументовом поясе. Левая рука его была окровавлена, перевязана платком и висела на темляке. Лиц обоих не мог он видеть. Долго ехал он сзади по скользкой тропе, висящей над пропастью, но при первой площадке заскакал вперед и поворотил коня навстречу.

– Селам алейкюм, – сказал он, преграждая путь на едва пробитую в скале стезю и выправляя оружие.

Передовой всадник поднял бурку на лицо, так что лишь одни нахмуренные брови его остались видимы.

– Алейкюм селам! – отвечал он, взводя курок ружья и укрепляясь в стременах.

– Дай бог доброго пути, – молвил Нефтали, повторяя обыкновенный привет встречи и между тем готовясь при первом неприязненном движении застрелить незнакомца.

– Дай тебе бог ума, чтобы не мешать путникам! – возразил нетерпеливо противник. – Чего ты хочешь от нас, кунак?

– Предлагаю покой и братскую трапезу вам, ячмень и стойло коням вашим. Порог мой искони цветет гостеприимством. Благодаренье путников множит стада и закаляет оружие доброго хозяина... Не кладите же клейма упрека на все наше селение, чтоб не сказали: «Они видели путников в полдневный жар и не освежили, не угостили их!»

– Благодарим за участие, приятель. Мы не привыкли на своре ходить в гости... да и быстрота для нас нужнее покоя.

– Вы едете навстречу гибели, не взявши провожатого.

– Провожатого! – воскликнул путник. – Да я знаю все турины стежки на Кавказе, не только ваши конные проезды. Я бывал там, куда не ползали змеи, не взбирались тигры, не летали орлы ваши... Отсторонись, товарищ... на божьей дороге нет твоего порога; мне некогда точить с тобою вздоры.

²⁹ Уздень – лицо, принадлежащее к феодальному дворянству Кабарды и Дагестана.

³⁰ Все горцы плохие мусульмане, но держатся секты сунни; напротив, большая часть дагестанцев шагиды, как и персияне... Обе секты сии ненавидят друг друга от чистого сердца. (Примеч. автора.)

– Я не уступлю шагу, покуда не узнаю, кто ты и – ет-кудова.

Дерзкий мальчишка! прочь с дороги... иль через миг твоя мать будет вымаливать у чакалов и ветров твои раздробленные кости! Благодарю судьбу, Нефтали, что я водил хлеб-соль с отцом твоим и не раз обок с ним пускал коня в сечу. Недостойный сын! Ты бродишь по дорогам и готов нападать на мирных путников, а тело отца твоего тлеет теперь на полях русских, и жены казаков продают на станичном базаре его оружие!!! Нефтали! отец твой убит вчера за Тереком: узнай меня!

– Султан-Ахмет-хан! – вскричал чеченец, пораженный нечаянным, пронзающим взором хана и страшною вестью; голос его замер; он упал на гриву коня в тоске невыразимой.

– Да, я Султан-Ахмет-хан! Но врежь в память, Нефтали, что, если ты скажешь кому-нибудь: «Я видел Аварского хана», месть моя переживет поколения!

Странники проехали мимо.

Хан безмолвствовал, погруженный, как видно, в неприятные воспоминания; Аммалат-бек (это был он) – в черные думы. У обоих платье носило следы недавнего боя, усы были опалены вспышками полки, и брызги чужой крови засохли на лицах. Но гордый взор первого вызывал, казалось, на бой судьбу и природу; мрачная улыбка досады, смешанная с презрением, сжимала уста. Напротив, истома была написана на бледном лице Аммалата. Он едва поводил полузакрытыми глазами, и порою стон вырывался от боли в раненой руке его: неровный ход татарского, непривычного к горным дорогам коня еще более разбережал рану. Он первый прервал молчание.

– Почему ты отказался от предложения этих добрых людей? Заехали бы отдохнуть часочек-другой и по росе помчались бы далее.

– Ты думаешь, потому что ты чувствуешь, как юноша, любезный Аммалат. Привык ты повелевать своими татарами, как рабами, и полагаешь, что так же легко обходиться с вольными горцами! Рука судьбы отяготела над ними: мы разбиты и прогнаны, сотни храбрых горцев, твои и мои нукеры легли в битве с русскими... и показать чеченцам побежденное лицо Султан-Ахмет-хана, которое привыкли они видеть звездой победы, явиться посреди их беглецом, быть вестником своего позора, принять нищенское угощение, может быть слышать укоры за гибель мужей и сынов, увлеченных мною в дерзкий набег, – значит навсегда потерять их доверие. Пройдет время, слезы высохнут, жажда мести заменит тоску по убитым, и тогда снова увидят они Султан-Ахмета, пророка добыч и крови; тогда снова раздастся в этих горах призыв к бою, и снова поведу я летучие толпы мстителей в русские границы. Приди я теперь, и в пылу огорчения чеченцы не рассудят, что аллах дает и отнимает победу... Они могут, пожалуй, обидеть меня дерзким словом, а мои обиды неискупимы, и личная месть может заградить широкую дорогу на русских. Зачем же накликать себе ссору с храбрым народом и сокрушать идола собственной славы, на который привыкли они глядеть с изумлением? Человек никогда не кажется обыкновеннее, как в бессилии, когда всякий безбоязненно может померять с ним плечо. Притом, тебе нужен искусный лекарь, а нигде не найдешь ты лучшего, как у меня. Завтра мы будем дома; потерпи до тех пор.

Аммалат-бек с признательностью приложил руку к сердцу и ко лбу: он чувствовал вполне справедливость речей хана, но слабость одолевала его с каждым часом.

Избегая селений, они провели ночь между утесами, питаясь горстью пшена, варенного с медом, без которого горцы редко отправляются в дорогу. Переправясь через Койсу, по мосту близ Аширте, они давно уже оставили за собой северный рукав ее, и Анде, и землю койсубулинцев, и голый хребет Салатау. Непроторенный путь их лежал по лесам, по крутизнам, ужасающим взор и дух; и вот стали они взбираться на последний хребет, разделяющий их с севера от Хунзаха, или Авара, – столицы ханов. Исчез и лес и кустарник на кремнистой пустыне гор, по которой кочуют лишь облака и вьюги. Чтобы достичь гребня, принуждены были паши путники ехать то вправо, то влево реями: так стремниста была круть утесов. Привычный конь хана

осторожно и верно ступал с камня на камень, пытал копытом, не катятся ли они, и на хвосте сползал в обрывы; но гордый, пылкий жеребец Аммалата, питомец холмов дагестанских, горячился, прыдал и оступался. Избалованный холею, он не мог выдержать двухдневного побега на зное солнца и холоду вершин, по острым скалам, едва подкрепленный скудной травой в рас-селинах. Тяжело храпел он, взбираясь выше и выше; пот струей бежал с нагрудника; широкие ноздри пытели огнем, и пена кипела на удилах.

– Аллах-Берекет! – воскликнул Аммалат, достигнув до вершины, с которой открылся ему вид на Аварию, по в ту же минуту изнемогший конь грянулся под ним на землю, кровь хлынула из оскаленного рта, и последний вздох его порвал седельную подпругу.

Хан поспешил помочь беку выбиться из стремян. Он со страхом заметил, что усилия сдвинули перевязку с раны Аммалатовой, и кровь пробилась снова. Молодой человек, казалось, был нечувствителен к боли: слезы его катились о павшем бегуне... Так одна капля не наполняет, на переполняет чашу.

– Ты уж не будешь носить меня как пух по ветру, – говорил он, – ни в пыльном облаке на скачке, слыша за собой досадные клики соперников и восклицания народа, ни в пламя битвы; уже не вынесешь еще однажды из-под чугунного дождя русских пушек. С тобой добыл я славу наездника; зачем же мне переживать и ее и тебя?!

Он склонил лицо в колена и долго, долго безмолвствовал, между тем как хан заботливо перевязывал раненую его руку. Наконец Аммалат поднял голову.

– Оставь меня, Султан-Ахмет-хан, – сказал он решительно, – оставь несчастливца собственной участи. Путь далек, а я изнемогаю. Оставшись со мной, ты даром погибнешь. Взгляни, как вьется над нами орел: он чувствует, что мое сердце скоро замрет в когтях его... И слава богу. Лучше найти воздушный гроб в хищной птице, чем отдать свой прах под ногу христианина. Прощай, не медли.

– Не стыдно ли тебе, Аммалат, падать, запнувшись за соломинку?.. Велика беда, что ты ранен, что конь твой пал! Рана заживет до свадьбы, коня найдем лучше прежнего, и впереди у аллаха не одни беды приготовлены. В цвете лет и в мужестве ума грешно отчаиваться. Садись на моего коня: я поведу его под уздцы, и к ночи мы дома. Время дорого!

– Для меня уже нет времени, Султан-Ахмет-хан... Благодарю от сердца за твою братскую заботливость, но я не пользуюсь ею; тебе самому не вынести пешеходного пути после такой усталости. Повторяю: оставь меня на произвол судьбы. Здесь, на неприступных высотах, умру я волен и доволен... Да и чем может манить меня жизнь! Родители мои лежат в земле, жена лишилась зрения, дядя и тесть шахмал ползают в Тарках перед русскими; в родине, в наследии моем пируют гяуры, и теперь сам я изгнанник из дому, беглец из боя. Я не хочу и не должен жить!

– Не должен бы говорить такого вздора, любезный Аммалат, и одна только лихорадка извиняет тебя. Мы созданы для того, чтоб жить долее отцов наших; жен ты можешь найти еще три, если одна не наскучила; если нелюб тебе шамхал, а любо твое кровное наследство, так для этого самого и надо тебе жить: потому что для мертвеца не нужна власть и невозможна победа. Мстить русским – святой долг: оживи хоть для него; а что мы разбиты, это не новость для воина; сегодня выпадает удача им, завтра выпадет нам. Аллах дает счастье, но человек создает себе славу не счастьем, а твердостью... Ободришь, друг Аммалат... Ты ранен и слаб, я крепок привычкою и не утомлен бегом; садись на коня, и мы еще побьем не раз русских!

Лицо Аммалата вспыхнуло...

– Да, я буду жить для мести им! – вскричал он, – для мести тайной и явной. Верь, Султан-Ахмет-хан, лишь для этого я принимаю твое великодушие!.. Отныне я твой... клянусь гробом отца: я твой! Руководи моими шагами, направляй удары моей руки, и если я, потонув в неге, забуду клятву свою, напомни мне эту минуту, эту вершину: Аммалат-бек пробудится, и кинжал его будет молния!

Хан обнял, поднимая на седло, воспламененного юношу.

– Теперь я узнаю в тебе чистую кровь эмиров, – сказал он, – кровь пламенную детей гор, которая, как сера, течет в жилах наших и в недрах утесов и порой, вспыхивая, потрясает и рушит громады.

Поддерживая одною рукою в седле раненого, хан осторожно стал спускаться с обнаженного черепа. Случалось, камни с шумом катились из-под ног или конь скользил вниз по гладкому граниту, а потому они очень рады были, добравшись до мшистой полосы. Мало-помалу кудрявые растения начали расстилать свою зеленую пелену, то вея из трещин опахалами, то спускаясь с крутин длинными плетеницами наподобие лент и флагов. Наконец они въехали в густой лес орешников, потом дуба, черешни и еще ниже чинара и чиндара. Разнообразие, богатство растений и величавое безмолвие сенистых дубрав вселяло какое-то невольное благоговение к дикой силе природы. Порой из ночного мрака ветвей, как утро, рассветала поляна, украшенная благоуханным ковром цветов, не мятых стопой человека. Тропинка то скрывалась в чаще, то выходила на край утеса, и под ним в глубине шумел и сверкал ручей, то пенясь между камнями, то дремля на каменном дне водоема, под тенью барбариса и шиповника. Фазаны, сверкая радужными хвостами, перелетывали в кустарниках; стада диких голубей вились над скалами то стеной, то столбом, восходящими к небу, и закат разливал на них воздушный пурпур свой, и тонкие туманы тихо подымались в ущелиях; все дышало вечернею прохладою, незнакомою жильцам полей.

Уже путники наши были близки к селению Аок, лежащему за небольшой горой от Хунзаха. Невысокий гребень разделял их с этим селением, когда ружейный выстрел раздался в горах и, как зловещий знак, повторился отголоском утесов. Путники остановились в недоумении: перекаты постепенно затихли.

– Это наши охотники, – сказал Султан-Ахмет-хан, отирая пот с лица. – Они не ждут меня и не чают встретить в таком положении. Много радостных, много и горестных слез принесу я в Хунзах!

Непритворная горесть изобразилась на грозном лице Ахмет-хана: все нежные и все злобные чувства так легко играют душой азиатца!

Другой выстрел, однако ж, развлек его внимание... Удар и удар еще... Выстрелы отвечали выстрелам и, наконец, слились в жаркую перепалку.

– Там русские! – вскричал Аммалат, выхватывая из ножен саблю, и сжал каблуками коня, как будто одним прыжком хотел перепрыгнуть за гребень, но мгновенные силы его оставили, и клинок, звуча, покотился из опавшей руки. – Хан, – сказал он, ступая на землю, – спеши на помощь своим землякам: твое лицо будет для них дороже сотни воинов.

Хан не слышал слов его: он прислушивался к полету пуль, как будто желая различить русские от аварских.

– Ужели с легкостью коз заняли они и крылья у орлов Казбека! И откуда могли они пройти на наши неприступные твердыни? – говорил он, весь склоняясь над седлом, со вложенною в стремя ногою. – Прощай, Аммалат! – вскричал он наконец, послышав, как загорелась сильней пальба. – Я еду погибнуть на развалинах, разразюсь, как перун, ударом!

В это время пуля, жужжа, упала к ногам его; он наклонился, поднял ее, и лицо его просияло улыбкою. Спокойно вынул он ногу из стремени и обратился к Аммалату.

– Садись верхом, – сказал он ему, – скоро ты своими глазами разгадаешь эту загадку... У русских свинцовые пули, а это медная, аварская³¹, моя милая землячка. Притом же она прилетела с южной стороны, откуда никак не могут прийти русские.

³¹ Не имея собственного свинца, аварцы большею частью стреляют медными пулями, ибо у них есть медные руды. (Примеч. автора.)

Они въехали на вершину гребня, и взорам их открылись две деревни, лежащие на двух противоположных краях глубокой рывины; и из них-то производилась перестрелка. Жители, залегши за камнями, за оградами, палили друг в друга. Между ними беспрестанно бегали женщины, с воплем и плачем, когда какой-нибудь удалец, приближась к самому краю пропасти, падал раненый. Они носили камень и заботливо и бесстрашно под свистом пуль складывали перед ним род щита. Радостные крики раздавались на той или другой стороне, когда видели, что выносят из дела раненого противника. Печальные стоны оглашали воздух, когда падал кто-нибудь из родных или товарищей. Аммалат долго и с удивлением смотрел на битву эту, в которой было более грому, чем вреда. Наконец он обратил вопрошающий взор к хану.

– У нас это обыкновенная вещь, – отвечал тот, любясь каждым удачным выстрелом. Такие сшибки поддерживают между нами воинственный дух и боевой навык. У вас частные ссоры кончаются несколькими ударами кинжала; у нас они становятся общим делом целых селений, и самая безделица может дать к тому повод. Я чай, и теперь дерутся за какую-нибудь украденную корову, которую не хотели отдать. У нас не стыдно воровать в чужом селении; стыдно только быть уличену в том. Полюбуйся на смелость наших женщин, пули, как мухи, жужжат, а им и горя мало! Достойные матери и жены богатырей!.. Конечно, в великий стыд вменится тому, кто ранит женщину; да ведь за пулю нельзя поручиться. Острый глаз направляет ее, но слепая судьба несет в цель.

Однако темнота льется с пеба и разлучает минутных врагов. Поспешим к родным моим.

Одна привычка хана могла спасти наших путников от частых падений по крутому спуску к реке Узени. Аммалат почти ничего не видал перед собою: двойная завеса ночи и слабости задерживала его очи; голова его кружилась; будто сквозь сон взглянул он, поднявшись снова на высоту, на ворота дома ханского, на сторожевую башню. Неверной ногой ступил он на землю среди двора, среди восклицаний нукеров и челядинцев, и едва перешагнул за решетчатый порог гарамы, дух его занялся, смертная блед-пость бросила снег свой на лицо раненого, и юный бек, истощенный кровью, утомленный путем, голодом и душевною тоскою, без чувств упал на узорные ковры.

Глава III

Аммалат пришел в память на заре.

Медленно, поодиночке сходились в ум его мысли, и те мелькали, будто в тумане, от чрезвычайного расслабления. Он вовсе не ощущал боли в теле своем, и это состояние было даже приятно ему: оно отнимало у жизни горе, у смерти – ужас, и в эту пору он услышал бы весть о выздоровлении так же беспечно, как весть о неизбежной кончине. Ему не хотелось молвить слова, пошевелить пальцем. Это полуусыпление было, однако ж, непродолжительно. В самый полдень, после посещения лекаря, когда прислужники разошлись исполнять обряды полуденной молитвы, когда стих усыпляющий говор их и только крик муллы раздавался вдали, Аммалат слышал тихие, осторожные шаги по коврам спальни. Он приподнял тяжелые веки, и сквозь сеть ресниц показалось ему, что прелестная черноокая девушка, в оранжевой сорочке, в глазетовом архалуке с двумя рядами эмалевых пуговиц, с длинными косами, распущенными по плечам, тихо приблизилась к его ложу и так заботливо обвела его чело, так сострадательно взглянула на рану, что в нем затрепетали все жилки. Потом осторожно налила она лекарства в чашечку и... больше не мог он рассмотреть: веки его опали как свинец; он только ловил слухом шелест ее шелкового платья, будто шум крыльев улетающего ангела, и снова все стихло. И каждый раз потом, когда нетвердый еще разум его хотел разгадать ее появление, оно сливалось с неясными грезами горячки, так что первым вздохом, первым словом его, когда он очнулся, было: «Это сон!»

Но это не был сон.

Прелестная эта девушка была шестнадцатилетняя дочь Султан-Ахмет-хана. У всех горцев вообще незамужние пользуются большою свободой обращения с мужчинами, несмотря на закон Магомета. Тем более независима была любимая дочь хана. Подле ней только отдыхал он от забот и досад; подле ней только лицо его находило улыбку, а сердце – шутки. В кругу ли аварских старшин и узденей рассуждал он о делах горской политики, или давал суд правым и виноватым, между домашними ли слушал рассказы о прежних удачствах, или замышлял новые набеги, она прилетала, как ласточка, и приносила ему весну душевную. Счастье было того виноватого, на чье осуждение являлась она при отце. Взмахнутый кинжал останавливался на воздухе, и часто, взглянув на нее, хан отлагал кровавые замыслы, чтобы не разлучаться с милою дочерью. Все было ей позволено, все доступно. Запретить ей что-либо не подумал бы Ахмет-хан ни для каких обычаев, ни для каких пересудов; а подозрение в чем-нибудь, недостойном ее пола или ее сана, было так же далеко от его мыслей, как от ее сердца. Да и кто мог ей внушить нежные чувства из окружающих хана? Склонить свои мысли, унижить свои чувства до человека, низшего ее родом, было бы неслыханным позором для дочери последнего узденя; тем выше ханская дочь от самой колыбели напитывалась гордынею предков, и она, как ледяное забрало, отделяла сердце ее от всего видимого общества. Доселе ни один гость не был равен с нею родом; по крайней мере ни про одного не спросило о том сердце. Вероятно, что и беспечный, бесстрастный возраст ее был тому виною, может быть, но теперь час любви пробил, и сердце востепенулось в груди неопытной красавицы. Она спешила заключить в объятия отца и со страхом увидала прекрасного юпошу, падающего как мертвец к ногам ее... Первое ее чувство был ужас; но когда отец рассказал, как и почему Аммалат гость его, когда сельский лекарь объявил, что рана неопасна, нежное соучастие к раненому проникло все ее существо. Целую ночь напролет мечтался ей окровавленный гость, и она встретила зарю впервые не так румяная, как варя; в первый раз прибегла она к хитрости, чтобы взглянуть на приезжего, вошла в комнату его, чтобы поздороваться с отцом, и потом вкралась туда в полдень. Непостижимое, неодолимое любопытство влекло ее посмотреть на глаза Аммалата. Никогда в детстве не желала она так сильно игрушки, никогда в настоящем возрасте не манило ее так

неодолимо новое, богатое платье или блестящее украшение, как страстно хотелось ей встретить глаза гостя; и, наконец, ввечеру она встретила томный, но выразительный, беспламенный, но светлый взор его. Она не могла отвести очей с черных очей Аммалата, прилепленных к ней. Казалось, они говорили: «Не скрывайся, звезда души моей!», поглощали исцеление и отраду из ее взоров. Она не знала, что с нею делается, не чувствовала, на земле ли была она или в воздухе носилась; летучие краски сменялись на лице ее. Наконец она решилась дрожащим голосом спросить его о здоровье...

Надо быть татариним, который считает за грех и обиду сказать слово чужой женщине, который ничего женского не видит, кроме покрывала и бровей, чтобы вообразить, как глубоко возмущен был пылкий бек взором и словом прелестной девушки, столь близко и столь нежно на него брошенным. Сладкий огонь пробежал по сердцу его, несмотря на слабость.

– О, мне очень хорошо теперь, – отвечал он, стараясь приподняться, – так хорошо, что я бы готов был умереть, Селтанета.

– Алла сахла-сын (бог да сохранил тебя), – возразила она. – Живи, живи долго!.. Неужели не жаль тебе жизни?

– В сладкие минуты сладка и смерть, Селтанета. А если б я прожил еще сто лет, краше настоящей не нашел бы!

Селтанета не поняла слов гостя, но она поняла взор его, поняла выражение его голоса. Она покраснела еще более и, сделав рукою знак, чтоб он успокоился, упорхнула из комнаты.

Между горцами есть весьма искусные лекаря, особенно для всех переломов и ран; но Аммалата исцеляло лучше всех трав и пластырей присутствие милой горянки. С приятною надеждою засыпал он, уверенный, что увидит ее во сне, и радостен просыпался, зная, что наяву с нею встретится. Силы его возвращались быстро, и с силами росла привязанность к Селтанете, Аммалат был женат, но, как водится на Востоке, для одних расчетов. Он никогда не видал до свадьбы невесты своей и после ничего не нашел в ней привлекательного, ничего такого, что бы могло пробудить его спящее сердце. Впоследствии жена его ослепла, и это обстоятельство еще более охладило связь, основанную на азиатской чувственности. Семейная неприязнь к тестю и дяде шамхалу еще более разделяла молодых супругов, до того, что они очень редко бывали вместе. Мудрено ли ж после этого, что юноша, пылкий по природе, своевластный по привычке, загорелся новою для него любовью! Быть с нею было для него самым высоким счастьем, ждать ее появления – приятнейшим занятием. Бывало, он вздрогнет, чуть слышит ее голос; каждый звук, будто луч солнца, проникал в душу, и ощущение его походило на боль, но боль так восхитительную, что он желал бы навеки продлить ее. Мало-помалу знакомство между молодыми людьми скрепилось в дружбу... Они почти беспрестанно бывали вместе. Хан часто уезжал внутрь Аварии по делам хозяйства, по расправам, по военным распоряжениям, оставляя гостя на попечение жены своей, тихой, молчаливой женщины. Он очень видел склонность Аммалата к дочери своей и втайне тому радовался; это оживляло его честолюбивые и воинственные виды: родство с беком, имеющим право на шамхальство, предавало ему в руки тысячу поводов и средств вредить русским. Ханша, занимаясь урядом домашним, оставляла нередко по целым часам Аммалата в покоях своих, как родного, и Селтанета, с двумя или тремя своими приближенными девушками, сидя на подушке за рукодельем, не видела, как летит время, то разговаривая с гостем, то внимая его рассказам. Бывало и то, что долго, долго сживал Аммалат, склонясь у ног своей Селтанеты, не вымолвив слова, то глядясь в черные, поглощающие глаза ее, то любясь с ней горными видами из окна ее, обращенного к северу, и крутыми берегами и крутыми изворотами гремучей Узени, над которою висит замок ханский. Подле этого детски невинного существа забывал Аммалат желания, которых она еще не знала, и, тая в неизвестном, непонятном для него наслаждении, он не думал ни о прошедшем, ни о будущем; он не думал ни о чем, он только мог чувствовать и беззаботно, не отнимая от чаши уст, пил блаженство каплю по капле.

Так протекло лето.

Аварцы – народ свободный. Они не знают и не терпят над собой никакой власти. Каждый аварец называет себя узденем, и если имеет есыря (пленного), то считает себя важным барин-ном. Бедны, следственно, и храбры до чрезвычайности; меткие стрелки из винтовок, славно действуют пешком; верхом отправляются только в набеги, и то весьма немногие. Лошади их мелки, но крепки невероятно; язык дробится на множество наречий, но в основе лезгинский, ибо и сами аварцы племени лезгинского. Помнят христианскую веру, ибо не более ста двадцати лет поклонились Магоммеду, но до сих пор плохие магометане: пьют водку, пьют бузу, нередко виноградное вино, но всего чаще вино вареное, называемое у них джапа. Верность аварского слова в горах обратилась в пословицу. Дома тихи, гостеприимны, радушны, не прячут ни жен, ни дочерей; за гостя готовы умереть и мстить до конца поколений. Месть для них – святыня, разбой – слава. Впрочем, нередко принуждены бывают к тому необходимостью. Выходя по вершине Аталы и Тхезерук, через хребет Турнитау в Кахетию, за реку Алазань, для сельских работ, из очень скудной платы, они нередко остаются дня по два и по три без дела и потом, сговорившись, как голодные волки, бросаются ночью на ближние селения и, если удастся, угоняют стада, похищают женщин, захватывают пленников, но всего чаще слагают свои буйные головы в неравном бою. В русские границы впадения их затихли с тех пор, как укротили акуншнцев, и Аслан-хан Кумыкский стережет через его владения лежащий выход из Аварии. Но селение Хунзах, или Авар, лежащее на восточном краю Аварии, искони составляет наследие ханов, и власть их там закон. Но имея право велеть своим нукерам изрубить кинжалами любого жителя Хунзаха, даже любого проезжего, хан не смеет наложить никакой подати, никакой пошлыны на народ и должен довольствоваться доходами со стад и с полей своих, обрабатываемых каравашами (рабами) и есырями (пленниками). Не бравши, однако ж, прямых налогов, ханы не отказываются от требования повинностей, освященных более силою, чем обычаем. Взять во двор мальчика или девку, нарядить подводы на волах или буйволах для собственной перевозки или работы, послать гонца и тому подобное – суть вещи ежедневные. Жители Хунзаха живут, однако же, богаче всех своих одноземцев; дома их чисты и почти все в два яруса; мужчины стройны, женщины красивы, тем более что между ними множество грузинок, захваченных в плен. В Аварии много занимаются арабским языком, и потому слог людей грамотных очень цветен. Гарам ханский всегда полон гостями и нередко просителями, которые, по азиатскому обычаю, не смеют показать глаз без пешкеша (подарка), хотя бы то был пяток яиц. Нукеры ханские, на числе и отважности коих опирается власть ег, о, с утра до вечера толкаются во дворах и в комнатах хана, всегда с заряженными пистолетами за поясом и с кинжалом на брюхе³². Любимые уздени и приезжие гости из чеченцев или из татар обыкновенно каждый день являлись поутру на поклон к хану, оттуда всей гурьбой отправлялись к ханше и нередко целый день оставались пировать в особых комнатах, угощаемые и в отсутствие хана изобильно. Однажды приходит в беседу уздень аварский и за новость рассказывает, что невдалеке появился огромный тигр и что двое отличнейших стрелков легли жертвою его лютости. Это так напугало наших охотников, что никто не решается в третий раз отведавать удачи.

– Я отведаю счастья! – вскричал Аммалат, горя нетерпением выказать удаливость свое перед горцами. – Пусть только наведут меня на след зверя.

Широкоплечий аварец измерил взором с ног до головы дерзостного бека и, улыбнувшись, молвил:

– Тигр не чета дагестанскому кабану, Аммалат! Его след нередко ведет к смерти!

– Неужели ты думаешь, – возразил тот гордо, – что на этой скользкой дорожке у меня закружится голова или дрогнет рука? Не зову тебя помогать, зову посмотреть моего боя с тиг-

³² Азиатцы носят кинжал не на боку, а впереди. (Примеч. автора.)

ром. Я надеюсь, ты согласишься тогда, что если сердце аварца твердо, как гранит его гор, то сердце дагестанца закалено, как славный булат их. Согласен?

Аварец был пойман.

Отказаться было бы постыдно, и он протянул руку, развеселил лицо...

– Охотно иду с тобою, – отвечал он. – Отлагать нечего; совершим клятву в мечети, и в путь и в бой неразлучно. Аллах судит: нам ли взять его кожу на чапрак или ему скушать нас.

Не в азиатском нраве, еще менее в азиатском обычае, прощаться с женщинами, отправляясь даже надолго, навсегда. Это принадлежит одним родным, и разве случаем выпадает гостю. Аммалат-бек со вздохом, однако ж, взглянул на окна Селтанеты и тихими шагами пошел к мечети. Там уже ожидали его старшины селения и толпа любопытной молодежи.

По старинному аварскому обыкновению, ловцы должны были поклясться на Куране, что не выдадут друг друга ни в битве со зверем, ни в преследовании; не покинут раненого, если судьба допустит, что зверь сломает его; будут защищать друг друга, лягут рядом, не щадя жизни, и во всяком случае без шкуры зверя не воротятся назад; или тот, кто преступит завет сей, да будет сброшен со скалы, как трус, как изменник.

Товарищи после присяги обнялись, мулла надел на них оружие, и они отправились в путь при громких кликах всей толпы.

– Или оба, или ни одного! – кричали им вслед.

– Убьем или умрем! – отвечали охотники.

Минул день. Укатил другой за хребты ледяные. Старики притомили глаза, глядя с кровель на дорогу. Мальчики далеко выбегали на окрестные холмы, чтобы встретить охотников: все их нет как нет. В целом Хунзахе, едва ль не у каждого очага, кто от безделья, кто от участия, толковали об этом, но всех более горевала Селтанета. Крикнут ли на дворе, зашумит ли кто на лестнице, вся кровь у нее вспыхнет, как на огне можжевельник, и сердце запрыгает от ожидания; вскочит, бывало, бедняжка и побежит к окну или дверям и, в двадцатый раз обманутая, потупив очи, тихо пойдет за рукоделье, которое впервые показалось ей скучно и бесконечно. Наконец, за сомнением, и страх наложил свою ледяную руку на сердце красавицы. Она спрашивала у отца, у братьев, у гостей, каков зверь тигр на рану, далеко ли, близко ли ходит он к селениям? И всякий раз, рассчитав время, она, сплеснув руками, говорила сама себе: «Они погибли!» и тихо клонила голову к неровно волнуемой груди, и крупные слезы катились по ее прелестному лицу.

На третий день оказалось, что опасения всех не были напрасны. Уздень, товарищ Аммалата в ловитве, насилу привлекся один до Хунзаха. Кафтан его был изодран когтями звериными, сам он бледен как смерть и в изнеможения от голода и усталости. С изумлением, с любопытством обстали его и стар и мал, и вот что рассказывал он, подкрепив себя чашкою молока и куском чурека:

– В тот же день, как вышли отсюда, выследили мы тигра. Мы нашли его спящим между таким каменником и чащею, что аллах упаси. По жеребью досталось первому стрелять мне: я подкрался и наметил очень ловко; стрельнул... ан на беду зверь спал, закрыв морду лапою, и пуля, пробив ее, угодила в шею. Пробужден громом и болью, тигр взревел и в два прыжка прямо ринулся на меня, так что я не успел выхватить и кинжала; с размаху он сбил меня с ног, смял задними ногами, и только помню я, что в миг этого промежутка раздался крик и выстрел Аммалата и затем оглушающее, ужасное рыкание. Раздавленный, я потерял память и дыхание и, долго ли я лежал в обмороке, не ведаю.

Когда открыл я глаза, все было тихо кругом меня; мелкий дождь сеялся из густого тумана; был ли то вечер, было ли то утро? Мое ружье, подернутое ржавчиной, лежало подле; ружье Аммалата, переломленное пополам, невдалеке; там и сям обрызганы были камни кровью, только чьею кровью: тигровой ли, Аммалатовой ли, как дознаться? Выломленные кустарники лежали кругом: верно, зверь выторгнул их упорными прыжками. Я кликал, сколько было

голосу, товарища; нет ответа. Посижу-посижу да еще покличу; напрасно! Ни зверя, ни птицы перелетной. Много раз пытался я идти, искать по следу Аммалата, или найти его, или умереть на его теле... хоть бы отомстить зверю за смерть удалого: силы нет. Взяло меня горе; я всплакался горько: зачем погибаю и телом и доброю славою! Решился было ждать смертного часа в пустыне, только голод одолел меня. Дай, подумал я, повещу в Хунзахе, что Аммалат пропал без вести, и хоть умру между своими. Вот я и приполз сюда, как раздавленный змей. Братья! голова моя перед вами: судите как положит аллах на сердце. Приговорите ли мне жить – буду жить, поминаючи вашу правду; приговорите умереть – и то воля ваша! – умру невинен. Аллах свидетель; я сделал что мог!

Ропот рассыпался по народу, когда выслушали пришельца. Одни правили, другие винули его, хотя и все жалели.

– Всякий себя охраняет, – говорили некоторые из обвинителей. – Кто порука, что он не бежал с поля? На нем нет раны, нет и свидетельства; а что он выдал товарища, это почти без сомнения! Не только выдал, может и нарочно предал, – толковали другие: они неладно между собою говаривали!

Ханские нукеры пошли еще далее; они подозревали, что уздень убил Аммалата из ревности. Он слишком умильно поглядывал на дочь ханскую, а ханская дочь не ему чету нашла в Аммалате.

Султан-Ахмет-хан, сведав, для чего собрался народ на улице, прискакал и сам на сходку.

– Трус! – сказал он вместе с гневом и огорчением узденю. – Ты пустил позор на имя аварское. Теперь может всякий татарин укорить нас, что мы зверям скормили гостя, не умея защитить его! По крайней мере мы сумеем за него отмстить: ты клялся на Куране по старине аварской не покидать в беде товарища и, если он падет, не ворочаться домой без шкуры зверя; ты изменил клятве, но мы не переступим завета: гибни! Даю три дня срок душе твоей, но потом, если Аммалат не найдется, тебя сбросят с утеса! Вы головами отвечаете мне за его голову! – примолвил он, обращаясь к своим нукерам, надвинул шапку на брови и повернул к дому коня своего.

Тридцать горцев помчались из Хунзаха во все стороны проведывать хоть об останках буйнакского бека. У горцев священной обязанностью считается с честью похоронить своего родственника или товарища, и они часто, как омировские герои³³, кидаются в пыл битвы, чтобы выхватить из рук русских убитого собрата, и порой десятками падают на тело, которого не хотят выдать.

Несчастливого узденя повлекли на конюшню ханскую – место, заменяющее обыкновенно тюрьму. Народ, рассуждая о происшедшем, угрюм, но безропотен разошелся по домам, ибо приговор ханский был согласен правде их обычаев.

Печальная весть скоро проникла до Селтанеты; и, как ни желали смягчить ее, она жестоко поразила девушку, столь много любящую. Со всем тем она против ожидания казалась спокойною: не плакала, не жаловалась, по зато и не улыбалась более, не молвила слова. Ей говорила мать, она не слышала. Искры из трубки отца прожигали ее платье, она не замечала. Холодный ветер веял на грудь ее, она не чувствовала. Все ее чувства сжались в сердце на муку его; но это сердце глубоко лежало от взоров, и ничего не отражалось на гордом лице ее. Ханская дочь боролась с шестнадцатилетнею Селтанетою; можно было предсказать, кто падет прежде.

Но эта скрытая тоска удушала Селтанету; ей хотелось убежать от людских глаз и на свободе выплакать горе.

³³ Омировские герои – то есть гомеровские.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.